

# ЮРИЙ БУЙДА

Покидая Аркадию  
книга перемен

От  
лауреата  
премии  
«Большая  
книга»!



18+

Юрий Буйда

**Покидая Аркадию. Книга перемен**

«ЭКСМО»

2016

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Буйда Ю. В.**

Покидая Аркадию. Книга перемен / Ю. В. Буйда — «Эксмо»,  
2016

ISBN 978-5-699-90768-7

Аркадия – идеальная страна счастья, рай на земле. Двадцать пять лет назад таким раем казалась дооктябрьская Россия, «которую мы потеряли», а сегодня многие считают, что идеальной страной был СССР, хотя советские люди были убеждены, что счастье возможно только в будущем, где нет ни «совка», ни «коммуняк», а только безграничная свобода и полные прилавки. Все требовали перемен, не задумываясь об их цене. Эта книга – о тех, кто погиб в пожаре перемен, и о тех, кто сгорел дотла, хотя и остался в живых, и о тех, кто прошел через все испытания, изменившись, но не изменив себе. О провинциальной девчонке, которая благодаря стойкости стала великой актрисой, потеряв все, кроме таланта. О молодом дипломате, отказавшемся от блестящей карьеры ради любви. О нормальных подростках, превратившихся в безжалостных убийц. О прокуроре, взявшемся за оружие, чтобы вернуться к привычной жизни. Эта книга – о поисках идеала, о единстве прошлого, настоящего и будущего, о нас сегодняшних, о счастливой Аркадии, которую мы всегда покидаем, никогда с нею не расставаясь.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-90768-7

© Буйда Ю. В., 2016

© Эксмо, 2016

## Содержание

Нора Крамер	7
Конец ознакомительного фрагмента.	34

**Юрий Буйда**  
**Покидая Аркадию. Книга перемен**

© Буйда Ю., 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

## Нора Крамер

Сначала она была Ленкой Ложкиной, потом стала Элли Тавлинской, затем Норой Крамер, и все эти три жизни она прожила беспощадно.

Она многое умела. Умела так приготовить куриную ногу, чтобы ее хватило на три дня. Пить спирт не закусывая. Прятать деньги в заднице. Готовить бейлис из сгущенки с водкой и растворимым кофе. Перелицовывать старую одежду, превращая ее в модные шмотки. Ходить на руках. Маскировать выбитый зуб жевательной резинкой. Терпеть голод и холод. Не плакать, когда хотелось плакать. Бегать на десятисантиметровых каблуках. Брить ноги спичкой. Варить суп из сникерса. Пользоваться кастетом. Потом она научилась танцевать стриптиз. Запоминать тридцать-сорок страниц текста с первого раза. Играть Эсхила, Шекспира и Чехова. Быть матерью, женой и любовницей. Отличать шамбертен от кортона. Говорить по-английски. Повелевать с твердостью и подчиняться с радостью.

Она всегда умела добиваться своего. Если б не умела, то так и осталась бы стриптизершей в «Фениксе», одной из тех провинциалок, которые скоро выходят в тираж и заканчивают свои дни в подземном переходе на Плешке, клянча у прохожих на пиво, или продавщицей на рынке, ужинающей дошираком под паленую водку, или возвращаются в свои городки и деревни, чтобы выращивать свиней, мечтать о более или менее постоянном муже и рассказывать подружкам о Москве, где никогда не кончается горячая вода...

Она добилась всего, научилась всему, освоила искусство лицедейства, искусство немощи и даже самое трудное из искусств – великое искусство молчания...

В детстве ей не нравилось ее имя – Элеонора, но только потому, что оно уже однажды принадлежало великой женщине – Элеоноре Дузе, а делиться Ленка не любила. И в будущем своем величии никогда не сомневалась.

Высокая, тощая, безгрудая, зубастая, с извилистыми ногами и острыми коленками, она считала себя неотразимой. Глядя на костлявую Элеонору, соседи ехидно говорили, что ее мать переспала с велосипедом или пружинным матрасом. Сверстники смеялись над ней: «Какая ты Ложкина! Ты – Вилкина! У тебя всюду зубья! Вилка! Вилка!» Но при этом все признавали, что у Вилки выразительные глаза, яркие, мятежные, и красивый чувственный рот.

Ну и талант, конечно, – с тем, что у Ленки Ложкиной талант, никто и не спорил. У нее был сильный чистый голос, она хорошо рисовала, а когда на школьном вечере читала со сцены отрывки из поэмы Асадова «Галина», зал рыдал и бешено аплодировал, а она смотрела на этих людей с улыбкой, и в душе ее радость мешалась с холодом...

Она записывалась во все кружки, какие только были в школе и доме пионеров, – в кружок книголюбов, рисунка и живописи, фотографии, танцевальный, авиамодельный, самбо, макраме, драматический, – лишь бы поменьше бывать дома.

Ее мать была продавщицей в продуктовом магазине. В городке высокомерную и вспыльчивую Зину Ложкину называли Бензиной. Она пятнала тощую грудь мушками из тафты, носила мини-юбки, яркие клипсы и умопомрачительные прически – высокие башни со свисающими на уши локонами, украшенные гребнями, заколками, цепочками и бантиками.

В выдвижном ящике под прилавком она держала тетрадь в черной обложке, в которую записывала должников. Это было запрещено под страхом уголовного наказания, но Бензина отпускала в долг и сахар, и консервы, и вино: навар того стоил. Ее главными жертвами были пьяницы, набиравшие водку «под запись». В конце месяца, когда жены алкашей приходили к Бензине, чтобы рассчитаться с долгами, выяснялось, что их мужья тридцать дней кряду пили водку ведрами и закусывали дорогой колбасой. «Опять приписала, сука! – кричала разгневанная женщина. – Вот пожалуюсь на тебя прокурору!» «Жалуйся! – кричала в ответ продавщица. – Больше ничего тебе в долг не дам! Ни спичечки!» До прокуратуры дело, конечно, не

доходило: отбушевав, женщины расплачивались и снова брали в долг, а Бензина делала в черной тетради соответствующую запись.

Богатства, однако, эти доходы в семью Ложкиных не приносили. Мать спускала все деньги на блузки с блестками, коньяк, пирожные и туфли с невероятными каблуками. По вечерам играла на гитаре и пела хриплым голосом «Тихо над речкою ивы качаются», каждую ночь плакала пьяными слезами на груди очередного мужчины и всегда мечтала о Москве, где могли бы по достоинству оценить ее царские ножки: «Там жизнь – глагол, а тут – одни прилагательные...»

Но однажды в ее жзни появился нищий баянист Сушкин, толстяк с собачьими глазами, который писал стихи, посвященные прекрасной Бензине, и все изменилось. Теперь она пила только с ним, теперь по ночам она плакала только на его груди, теперь она почти не поминала Москву: она нашла свой глагол. По утрам Сушкин ходил по дому в трусах, брал квашеную капусту из тарелки руками и томно вздыхал, поглаживая Бензинину задницу. Когда у Сушкина случались приступы гипертонии, Бензина преданно ухаживала за ним.

И тогда же ее дочь вдруг поняла, что нашла свое призвание.

Однажды руководитель драмкружка Ксаверий Казимирович Зминский – в городке его называли Ксавье – оставил ее после занятий и попросил прочитать стихотворение «Вот бреду я вдоль большой дороги...». Элеонора прочла «с выражением», как читала со сцены «Галину». Ксавье выслушал, кивнул и стал рассказывать о Тютчеве, о юной Елене Денисьевой, которой поэт годился в отцы, об их любви, их болезненных отношениях, растянувшихся на четверть века, об их детях, о ее смерти и его горе...

– Так он при живой жене ей детей делал? – спросила Ленка. – На глазах у всех?

– Да, – сказал Ксавье. – А теперь прочти то же самое еще раз.

Она поняла, что тут какой-то подвох, и стала читать, внимательно наблюдая за выражением лица Ксавье, но оно оставалось невозмутимым. Тогда она после паузы прочла стихи в другой тональности, но и на этот раз учитель промолчал.

После этого Ленка, сбита с толку, испуганная и униженная, пошла в библиотеку, набрала книг Тютчева и о Тютчеве, проглотила их за неделю, но на следующее занятие драмкружка не пошла. Она вдруг поняла, что не в силах прочесть это стихотворение так, чтобы это понравилось Ксавье. Она лежала в своей комнатке, слышала, как Сушкин внизу тихонько наигрывал на баяне что-то тягучее, степное, как мать мыла посуду после ужина, а в соседском дворе выл пес Таракан, думала об этом старике в мундире со звездой, который писал стихи, о его желчном характере, о его любовнице, перебирала в памяти стихи и не заметила, как уснула, а среди ночи вдруг проснулась, села на кровати – голова была ясной, руки почему-то дрожали – и вдруг увидела в окне соседского дома тусклый огонек, и словно вознеслась над этой жизнью, над городком, над спящими и умирающими, с радостью почувствовала себя живой и бессмертной, и услышала какой-то дребезжащий тихий звук – это сумасшедший старик Девушкин брел по ночному городу, толкая перед собой тележку со всяким мусором, который он целыми днями собирал на обочинах, и прочла стихотворение вслух, не слыша себя, но понимая, что – получилось, и понимая также, что самое трудное – не потерять этот тусклый свет, эту безмозглую подростковую радость и этот дребезжащий звук, далеко разносившийся в ночи...

Через неделю она дождалась, когда Ксавье останется один, отвернулась к окну, чтобы не видеть его лица, и стала читать, упиваясь этим светом, тлеющим где-то в глубине, и этим звуком, заунывным и дребезжащим, накатывающим и затихающим, накатывающим и затихающим...

– А ты, оказывается, не такая и дурочка, как я думал, – сказал Ксавье, когда она замолчала. – Теперь надо поработать с дыханием...

Никогда еще она не переживала таких чувств, как в тот вечер. Ей казалось, что она чудом избежала смертельной опасности, и была так счастлива, что не могла сдержать слез. И ей хотелось переживать это чувство снова и снова, невзирая на страх и унижение...

С того дня Ксавье стал заниматься с нею отдельно. Они читали пьесы вслух по ролям, обсуждали характеры и интонации, и после этого Ленке хотелось тотчас сыграть и Федру, и Джульетту, и леди Макбет, и Маргариту Готье, но более или менее убедительной выходили у нее роли помещицы Поповой из чеховского «Медведя» да Софьи из «Горя от ума». К своему огромному удивлению, она обнаруживала в себе бездны упорства и терпения, когда по приказу Ксавье в тридцать какой-то раз декламировала «На холмах Грузии» или монолог Нины Заречной...

– Есть в тебе содержание, есть, – говорил Ксавье. – Из тебя может получиться актриса, если не остановишься... может быть, даже трагическая актриса...

По дороге в школу она бормотала себе под нос: «Тебе открылся мой мучительный позор, И слезы пеленой мне застилают взор...» или: «Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни», и вдруг останавливалась, смотрела на людей, бежавших по своим делам, на серые деревья, стены домов, и прерывисто вздыхала от необыкновенного счастья, которое ее переполняло...

Ксаверия Зминского вдруг посадили по сто двадцать первой статье, за гомосексуализм, и Ленка осталась одна. На нее показывали пальцем, хихикали за спиной, к ним вдруг зачастили соседи – посмотреть на «подружку пидораса», а новый руководитель драмкружка сказал, что ничего путного из Ленки не выйдет, потому что она слишком долго думает...

На выпускной вечер Ленка не пошла, аттестат о среднем образовании получила в школьной канцелярии.

Она попыталась поступить в медучилище, но неудачно.

Вынесла за калитку все книги, которые покупала на обеденные деньги, устроилась продавщицей в магазин москательных товаров, осенью вышла замуж за соседского парня Мишу, только что вернувшегося из армии, добродушного силача и пьяницу, родила сына, у которого оказался кататонический синдром, ребенка сдали в психоневрологический интернат, и через три месяца он умер, по вечерам Ленка в компании мужа, матери и Сушкина смотрела «Рабыню Изауру», пила водку с лимонадом и плакала, Миша набирался до чертиков и начинал бить жену, в драку ввязывались Бензина и Сушкин, потом мирились, пили, плакали и хором пели «Невечернюю»...

Но однажды в субботу, после «Невечерней», Миша вдруг схватил нож, закричал: «Да провались оно все пропадом!» – и перерезал себе горло на глазах у жены, тещи и баяниста, забрызгав всех кровью. Спасти его не удалось.

Неделю Ленка не выходила из своей комнаты, неделю она не могла заснуть. Закрывала глаза и видела разваливающееся горло мужа с потеками крови, жалобное лицо Сушкина и мать, замершую с открытым ртом, в котором сверкал золотом нижний левый клык, – и вскакивала, вся дрожа, задыхаясь...

Утром в воскресенье открыла зачем-то сундук, вытащила случайно уцелевший томик Тютчева, села на стул и просидела у окна до вечера, так и не открыв книгу.

В понедельник взяла на работе расчет, купила билет на автобус до Москвы, выписала из справочника адреса всех столичных театральных училищ, кинула в чемоданчик смену белья, накрашила губы и отправилась на автовокзал. В ожидании автобуса позволила цыганке погадать на руке, отдала ей пятерку, заняла место и заснула, а проснулась уже в Москве, на Щелковском вокзале – только тогда и обнаружила, что цыганка украла у нее все деньги.

Что ж, хоть фамилия осталась – Тавлинская. Элеонора Тавлинская. Не то что Ложкина. Ради этой звучной фамилии, может быть, и вышла за Мишу, подумала она и стиснула зубы.

Ей было девятнадцать, когда она приехала в Москву, и у нее не было денег.

Пять копеек, завалявшиеся в кошельке, уже не были деньгами – в марте 1991 года проезд в метро подорожал вдвое.

Она была голодна, и ей хотелось пить. Бродила по автовокзалу, уворачиваясь от дюжих наперсточников, которые убегали от милиции со складными столиками в руках, валя прохожих с ног, высматривала бутылки с остатками пива, но их перехватывали злые старухи в беретах со значком «Гвардия» и в домашних тапках, привязанных к ногам бельевыми веревками, глазела на проституток, отдыхавших с водкой и сигаретами за заданием вокзала на поваленном заборе, куда все, мужчины и женщины, ходили мочиться, на парней в спортивных костюмах и кепках, выцеливавших недобрым взглядом кого-то в толпе, и, наконец, не выдержала – подошла к старику, продавцу газет, и спросила, не подскажет ли он, где тут можно переночевать.

– У меня, – сказал старик, смерив ее взглядом. – Но будешь стирать белье. И не смеь смеяться над Лениным!

– А вы не будете смеяться над Элеонорой? – спросила она.

– Договорились, – сказал старик. – Через два часа освобожусь...

И спустя двадцать лет она вспоминала Владимира Ильича – так звали старика – с благодарной нежностью. Прием во все театральные училища закончился, она опоздала, и старик разрешил ей жить у него «сколько надо».

Тем вечером он накормил ее яичницей с колбасой, поделился чекушкой, постелил на диване, сам лег в кухне, а утром отвел в контору метрополитена, где требовались уборщицы.

По ночам Элли – теперь она называла себя только так – мыла полы на станции метро, утром отсыпалась, потом относил старикау термос с чаем и бутерброды, иногда вставала за прилавков, пока он отдыхал на пачках газет в тени пыльных деревьев. Готовила еду, стирала белье, заклеивала на зиму окна. Хозяин не брал с нее денег за постой – на сэкономленные Элли удавалось ходить в театр или в кино.

Отец хозяина всю жизнь строил заводы и города – в степях, в тайге и пустынях, во время войны занимался эвакуацией предприятий на восток, после войны снова строил – на этот раз космодромы. Лауреат всех премий, Герой Труда, генерал. В московской квартире почти не бывал – вернулся сюда, когда вышел на пенсию. Пытался писать мемуары, но после двух инфарктов и инсульта дело продвигалось плохо. До самого конца не мог понять, что же происходит в стране, что такое перестройка – революция, кризис или гульба. Склонялся к гульбе: «Умственное пьянство ничуть не лучше обычного. И нельзя, нельзя, чтобы все желания исполнялись, потому что первыми исполняются желания дурные». Год назад умер и был похоронен с воинскими почестями. Дети разменяли квартиру, а спившаяся дочь распродала награды отца.

Владимир Ильич рос в Казахстане и Сибири, воевал, окончил Бауманку, всю жизнь провёл на ракетных полигонах, развелся, преподавал в университете, ушел на пенсию. Иногда его навещала старинная приятельница Клавдия Дмитриевна, которая рассказывала, как живут его бывшая жена и дети: сын стал предпринимателем, дочь вышла за военного.

Рассказывая о себе, Владимир Ильич никогда не упоминал ни географических названий, ни имен тех, с кем когда-то работал: сказывалась привычка к секретности, свойственная людям, которые прожили всю жизнь в другой, тайной стране.

Вечерами Владимир Ильич снимал со стены гитару – он был настоящим виртуозом, и Элли многому у него научилась. Иногда же они просто читали – хозяин перечитывал Лема, а Элли открывала Кафку – тогда на уличных книжных прилавках Кафки было не меньше, чем Чейза.

Клавдия Дмитриевна, молодая дама с перманентом, иногда оставалась на ночь, и по утрам они завтракали вдвоем. Она-то и предложила однажды познакомиться Элли со старухой Сухановой, отставной актрисой, которая нуждалась в помощи по дому и за это готова была и платить, и давать уроки актерского мастерства. Похоже, Клавдия Дмитриевна видела в Элли соперницу и хотела избавиться от нее.

Старуха Суханова была крупной, одышливой, с пушистыми белыми бровями. Она играла роль суровой, строгой дамы, хотя на самом деле была больной и беспомощной. Целыми днями она дремала в кресле-качалке с кошкой на коленях, но к вечеру оживлялась. Она не признавала никакого приема пищи в кухне, никакого коньяка в бутылках – Элли подавала еду в столовую и ставила на стол графины с крепкими напитками. Аппетит у старухи был крестьянский – она много ела и пила, становилась веселой и говорливой.

После первой рюмки она рассказывала о великих театрах, о режиссерах и актерах, с которыми ей довелось когда-то работать, после второй – заставляла Элли читать вслух стихи или какой-нибудь монолог и объясняла, как на самом деле должна звучать сценическая речь, после третьей вспоминала многочисленных своих любовников – наркомов и маршалов, оперных певцов и спортсменов, цирковых фокусников и журналистов...

– А вот со Сталиным мы так и не стали по-настоящему близки, – говорила она. – Все ограничилось бездушным минетом...

Элли не знала, верить ли старухе, которая всю жизнь была замужем за одним мужчиной, известным в далекие времена театральным критиком. После четвертой рюмки Ольга Ивановна всегда плакала, глядя на портрет своего Клавочки, Клавдия Ивановича Дмитриевского. Выпив пятую, говорила, что обязана ему всем: Клавочка научил ее понимать Чехова, носить драгоценности и готовить томленную утку по-аквитански.

– Мне так хотелось сыграть леди Макбет, – говорила она, – но Клавочка сказал, что это не мое. Ма шер, говорил он мне, это пессимизм, скептицизм и нигилизм продаются на каждом углу, а трагизм надо выстрадать. А ты, говорил он, ты, ма шер, была счастлива и при Ленине, и при Сталине, и при Хрущеве, а Брежнев так и вовсе осыпал тебя наградами. Ты была самой счастливой и самой беспечной дамой русского театра. И он прав... так я и не сыграла ни Федру, ни леди Макбет, ни даже Маргариту Готье... Он считал, что существуют лишь три пьесы, которых достаточно любому театру, чтобы быть театром, – это «Царь Эдип» Софокла, пьеса о человеке и Боге, это «Макбет», пьеса о человеке без Бога, и, наконец, «Дама с камелиями»...

Она с жадностью слушала рассказы Элли о жизни в маленьком городке, о занятиях с Ксавье, о замужестве, смерти ребенка и самоубийстве мужа, задавая при этом множество вопросов, выпытывая детали, расспрашивая о том, что та чувствовала и думала.

– Что значит – не помню? – возмущалась Ольга Ивановна. – Судьба подарила тебе столько переживаний, а ты не помнишь, что при этом чувствовала и думала? Так придумай! А лучше – вернись назад и попробуй разобраться в своих мыслях и чувствах. Все это тебе пригодится, если ты мечтаешь о карьере актрисы. Иногда достаточно вспомнить, как в детстве тебе хотелось отлупить дурочек, которые смеялись над твоими кривыми ногами, чтобы сыграть настоящую леди Макбет!..

Годы спустя Элли убедилась в правоте старухи Сухановой, хранившей в своей памяти все детали, все цвета и вкусы жизни.

В июне Ольге Ивановне исполнилось девяносто, и это событие с размахом отпраздновала вся театральная Москва. На торжественном обеде в ресторане старуха попросила своего бывшего ученика обратить внимание на ее «компаньонку», и в сентябре Элли приступила к занятиям в знаменитом театральном училище.

Она была благодарна Владимиру Ильичу за то, что приютил ее и научил играть на гитаре, она была благодарна этой крашеной сучке Клавдии, подозревавшей Элли в любовной связи со стариком, благодарна за то, что та познакомила ее с Ольгой Ивановной Сухановой, и старухе она была, конечно же, благодарна за сытую жизнь, за коньяк, за уроки актерского мастерства, за то, что научила ее память, ее ум и чувства работать безостановочно, на пределе, благодарна за семена, из которых выросли ее Нина Заречная и леди Макбет, ее Маргарита Готье, ее Федра и даже ее тупые стервы из проходных спектаклей и сериалов...

Она была благодарна Лизе Феникс, которая нашла ей жилье и работу, когда старуха Суханова умерла и квартиру пришлось покинуть.

Лизу хорошо знали в общежитии театрального училища, где она подбирала девушек для своего стрип-клуба, одного из первых в Москве. Выбирала, разумеется, тех, кто пофактурнее, с грудью, ляжками и задницей. Посмотрев, как Элли работает у шеста, сказала:

– Ни сиськи, ни письки и жопа с кулачок. Но что-то в тебе есть. Можешь сделать то же самое, но раз в сто быстрее?

Элли попробовала – у нее чуть подошвы не задымились.

Рабочие сцены, осветители, музыканты, официанты – все засмеялись, заплотировали.

Через месяц в стрип-клуб «Феникс» стояла очередь из желающих посмотреть на Бешеную Элли, которая выделялась на сцене что-то невероятное.

Она не обращала внимания на вывихи, ушибы и растяжения – работала как проклятая, и трусы ее после выступления были набиты чаевыми.

Иногда она работала в паре с Молли, которая издали была похожа на нее как сестра-близняшка, но формы имела более впечатляющие. Фокус заключался в том, что двигались они в разном темпе, доводя зрителей до головокружения.

Лиза Феникс берегла свою звезду, щедро платила, ставила ее только на пятничные и субботние выступления, делала массаж, обдавая жаром своего огромного мускулистого тела, поселила у себя, кормила деликатесами, покупала ей французское мыло и ласкала с такой неистовостью, какой Элли никогда не встречала у мужчин. А главное – не донимала ревностью, если Элли после выступления уезжала с каким-нибудь мужчиной.

Мужчин было много, их становилось все больше.

Среди них были и те, кто предлагал руку и сердце.

Когда одному из них она отказала, он отхлебнул виски из красивого стакана и, указав сигарой на дверь, сказал, не повышая голоса, чуть шепелявя:

– Тогда пошла вон. Сейчас, немедленно.

Ей рассказывали, что он был из тех, кому перечить опасно. Смертельно опасно. Вот так же, не повышая голоса и чуть шепелявя, со стаканом виски в руке и сигарой в зубах, он приказал однажды выкрасть четырнадцатилетнюю дочь конкурента, изнасиловать и приковать цепью в шахте, где девчонка три недели покрывалась язвами и исходила поносом, пока не умерла, а когда ему доложили об этом, только пожал плечами.

Скорее всего, это было вранье, но правда была не лучше.

Элли молча оделась и ушла.

В легкой куртке, мини-юбке, на шпильках она прошла семь километров по январскому морозу, пока не поймала такси. Была ночь, таксист запросил «два счетчика», она согласилась, но когда пришло время расплачиваться, вдруг обнаружила, что денег в кошельке кот наплакал. Миллиардер ей не заплатил – ведь он вез к себе на дачу возлюбленную, будущую жену, а не проститутку.

Она отдала водителю все, что у нее было в кошельке.

– Ладно, – со вздохом сказал таксист, расстегивая брюки, – придется тебе поработать, подруга.

И этому таксисту она была благодарна за то, что не избил, а предложил честно поработать, и она честно поработала, хотя и не стала рассказывать об этом Лизе Феникс.

Она была бесконечно благодарна Лизе Феникс за то, что та познакомила ее с Донатасом Таркасом, Доном Тарком, как называли его в театральных кругах. Лиза подвела Элли к высокому мужчине, сидевшему за большим столом в окружении красивых мальчиков, Элли и Дон выпили за знакомство, он стал рассказывать о «Макбете», которого когда-то показал на Эдинбургском фестивале: двадцать пять голых актеров с ножами и дубинами в руках, сбившись в тесную толпу, пятнадцать минут молча били и резали друг дружку, а в финале из горы трупов

выбирался Малькольм, весь окровавленный, и говорил: «Мы времени чрезмерно не потратим на то, чтобы со всеми рассчитаться за их любовь...»

– Мне казалось, – сказал Дон, – что я поставил вполне адекватный спектакль. Скажу без ложной скромности, я тогда был молод и невероятно глуп...

К тому времени Элли снялась в шести фильмах, сыграла в нескольких спектаклях, получила премию за главную роль в «Шиксе», купила квартиру на Чистых Прудах, вышла замуж, родила дочь, похоронила мужа, стала владелицей дома в Агуреево и довольно известной актрисой, но по-прежнему время от времени танцевала в «Фениксе», уступая просьбам Лизы и Молли. Она оставила фамилию мужа, и на афишах теперь ее представляли как Нору Крамер.

– Нора, – сказал Дон. – Нора Крамер. С таким именем Клитемнестру играть, а не в стрип-клубе отплясывать... хотя отплясываешь ты, конечно, дивно...

Дон только что получил «Золотую маску» за «Царя Эдипа», его постановки «Дома Бернарды Альбы», «Иванова» и «Реквиема по монахине» стали выдающимися событиями в русском театре, а на читках «Котлована» в его Лаборатории люди стояли у стен и сидели в проходах. В Москве и Питере его называли человеком театральной национальности и знали как веселого раздолбая, пьяницу и бабника, хотя некоторые утверждали, что он бисексуал. Но всем также было известно, что как только на Дона накатывало, он становился «несносным придурком» – мрачным, неразговорчивым и раздражительным. У него не было проходных постановок, и даже провалы его были интересными, как в случае с «Гамлетом». Спектакли его рождались долго, с трудом, иногда со скандалами. Критики упрекали его в том, что он подбирает исполнителей только «по любви», подчас не обращая внимания на их профессиональные качества.

После встречи в «Фениксе» Дон и Нора стали жить вместе. Пока она пропадала на репетициях, он целыми днями бродил по городу, курил, дремал на скамейке в парке, потягивая из фляжки, перечитывал «Герцогиню Мальфи» и «Белого дьявола», а вечерами, если у Норы не было спектаклей, они устраивались на диване в гостиной и смотрели фильмы с Марией Казарес, Изабель Юппер, Анной Маньяни и Тильдой Суинтон.

Нора понимала, что и кровавый Уэбстер, и Мария Казарес выбраны не случайно, и когда Дон сказал наконец, что подумывает о постановке *настоящего* «Макбета», все встало на свои места: он искал леди Макбет. Ему нужна была не «крепкая жопа» вроде Жанетт Нолан, замечательная находка Орсона Уэллса, а «узкая сука».

– Боюсь я этого вашего Макбета, – сказал он, – и бабы его боюсь с ее немытыми руками, и всех этих дурацких пузырей земли, всего этого безвкусного нагромождения ужасов, убийств, призраков, всех этих одномерных людей, одержимых смертью...

– И не оглядывающихся даже на Бога, – подхватила Нора. – Живущих в мире, где Бога нет.

– Слово «бог», невзначай вылетевшее из твоего лядского ротика, – сказал Дон, – даже меня заставляет краснеть...

Поперхнувшись вином, разъяренная, рычащая, голая, с распущенными волосами, она отшвырнула бокал и погналась за ним с бейсбольной битой – Дон едва успел юркнуть за дверь.

Это был первый их разговор о будущей постановке.

В те дни Нора завела тетрадь, в которой эскизно записывала их разговоры о «Макбете»: «Убийство – единственная тема трагедии... Атмосфера: готовность к убийству и ожидание смерти, ничего больше... Я – человек, ерго, я убиваю... Все живут здесь и сейчас, не задумываясь об оправдании, не оглядываясь ни на людей, ни на Бога... ни совести, ни чувства вины, ни любви, ни сострадания – ничего того, что сегодня считается человеческим...

У леди М. был ребенок или дети (акт I, сцена 7), она потеряла мужа и детей, у нее ничего не осталось, кроме жажды власти, желания восстановить если не гармонию, то хотя бы баланс,

компенсировать властью потерю мужа и детей, в ее представлении это, видимо, и есть справедливость...

Макбет – орудие для достижения ее целей, но он же – единственный характер в развитии, единственный, кто колеблется и надеется... Впрочем, его надежда на *endlosung*, на «решающее убийство», после которого наступят мир и благоденствие, не только ужасна, но и смехотворна...

Слепящий свет безумия, спасающий леди Макбет от этой жизни, единственный просвет в этой тьме...

Лишенная любви человеческой, леди Макбет полностью захвачена, одержима *высокой любовью к злу...*»

День за днем они читали пьесу, обсуждая каждый поворот сюжета, каждую реплику, каждый вздох персонажей: ведьмы – пузыри земли... убийство Дункана, подброшенный кинжал, лица, вызолоченные кровью... убийство Банко и снова ведьмы, вызывающие духов... убийство жены и троих сыновей Макдуфа... леди Макбет, моющая руки... Бирнамский лес и Дунсинанский холм... «завтра, завтра, завтра»...

Поначалу, когда заходила речь об этой постановке, Дон говорил «я», но уже через два месяца в его речи все чаще стали возникать «мы»: «Мы ставим спектакль... мы должны понимать... мы не можем себе позволить...» Вскоре уже не мог видеть в этой роли никого, кроме Нору.

– Если сыграешь ее так же, как трахаешься, – сказал он как-то, – мы сделаем шедевр. Я не шучу: это ведь самая эротическая пьеса Шекспира, она вся пропитана вожделением, похотью... это такая кровавая «Камасутра», если угодно...

Он хотел выстроить актерский ансамбль вокруг леди Макбет, единственной активной женщины на сцене, и безжалостно гонял Нору, не давая ей спуска. Иногда он заставлял ее молчать в тех эпизодах, где по сюжету она должна была говорить, побуждая сыграть все смыслы эпизода лицом и телом, и это доводило Нору до дрожи и головной боли. Однажды она не выдержала, заперлась в туалете и разрыдалась. А потом вымыла руки, пытаясь делать это как леди Макбет, смывающая с рук кровь. Она сто раз пыталась смыть кровь с рук, проклиная Шекспира, Дона и леди Макбет. Вставала среди ночи и мыла руки. Однажды в общественном туалете напугала женщин: она смотрела, как они моют руки, и истерически хохотала. Это случилось в ресторане, где они с Доном отмечали первую годовщину совместной жизни.

– Значит, пора, – сказал Дон, когда она рассказала ему о случае в туалете. – Пора звать Тарасика.

Тарасик был вечным мальчиком, белокурым, мягким, с девичьим лицом и уклончивым взглядом. Он не был ни актером, ни режиссером, ни критиком – он был «человеком театра», который всегда терся в театральных кругах, всегда, как говорят актеры, *подворовывал*, то есть держался в полутени, на полшага сзади и сбоку от главных действующих лиц, всегда был готов сбегать за водкой или за цветами, что-нибудь поднести, подать, налить, подставить плечо под угол гроба при выносе тела, влюбиться, разлюбить, завершить цитату, сделать массаж усталому актеру или всю ночь выслушивать жалобы расстроенной актрисы, и при этом нельзя было понять, улыбается он, плачет или злится. Он интересовался всем и всеми, знал все сплетни, помнил все имена, а вот им никто не интересовался, никто даже не был уверен, что Тарасик – его настоящее имя, никто знать не знал, на что он живет и вообще что собой, черт возьми, представляет. Но стоило только подумать о нем, стоило помянуть его в разговоре, как он бесшумно выходил на свет, оказывался рядом – с этой своей полуулыбкой на милом личике, в каком-нибудь модном жилете, с перстеньками на всех пальцах, готовый идти, бежать, лететь, ползти, карабкаться, пить, есть, плакать, сострадать, лизать и подхватывать...

Встретив Дона, Тарасик влюбился – может быть, впервые в жизни и, похоже, по-настоящему. Он всюду сопровождал своего кумира, жил в его квартире чуть ли не в кладовке, хотя

многие считали, что эта кладовка была на самом деле спальней, а когда в жизни Дона появилась Нора, разрыдался, в сердцах швырнул в него стакан и убежал. Впервые Тарасика видели расстроенным, даже разгневанным – он не мог поверить, что его променяли на эту безгрудую кривоногую стерву с непристойным ртом и мятежным взглядом.

Тарасик вызывал у Норы и безразличие, и жалость, и раздражение, и желание прибить его тапком, как насекомое, но она вовсе не собиралась ссориться из-за него с Доном.

Дон привык на предпоследнем этапе подготовки к спектаклю советоваться с Тарасиком: этот мальчик знал все тонкости отношений между актерами и часами мог рассказывать об их тайных беременностях и неминуемых разводах, домашних склоках и болезненных пристрастиях, о любовных треугольниках и сексуальных предпочтениях, об их панкреатитах и трахеитах, неврозах и артрозах, а кроме того, обо всех ролях, которые они сыграли в кино или театре...

– Ты просто любишь сплетни, – сказала как-то Нора.

– Я должен собрать ансамбль, – возразил Дон, – команду, оркестр, банду. Я должен быть уверен, что они будут грабить и резать без колебаний, а не бросятся наутек в случае опасности.

Дон и Тарасик начали встречаться с продюсерами, актерами, художниками, музыкантами, и вскоре вся театральная Москва заговорила о новом проекте выдающегося режиссера, собирающего лучшие силы для постановки «Макбета». Известно было, что на роль Макбета Дон выбрал Ермилова, прославившегося в «Живом труп». Все гадали, кто сыграет главную героиню, но имя исполнительницы Дон пока не называл. Поговаривали, что за декорации взялся сам Кропоткин, художник с мировым именем.

А вскоре начались репетиции, и их жизнь изменилась.

Уже через неделю квартира была завалена клочками бумаги, эскизами, разноцветным тряпьем, шпагами, латами, барабанами, знаменами, пустыми бутылками, пластиковыми стаканчиками и женскими трусиками. Дон репетировал сначала в театре, подбадривая себя коньяком, а потом вел всю актерскую ватагу к себе, и тут, в его квартире на Покровке, репетиция возобновлялась, чтобы к ночи превратиться в оргию. Утром Тарасика – а он под шумок поселился на Покровке – посылали за пивом, все опохмелялись, потом голый Дон гонялся с метлой за упившимся кавдорским таном, пытаясь выгнать его вон, потом все отсыпались, а вечером отправлялись на репетицию в театр, и все повторялось...

Однако месяца за два до генеральной репетиции жизнь изменилась снова. Никаких пьянок, никакого разгула, никаких женских трусиков на полу и блевотины по углам. Ермилов оказался прекрасным партнером – Нора наслаждалась работой.

Однажды все перекошилось и чуть не рухнуло.

Нора поймала Тарасика с амфетамином, пригрозила полицией. Но мальчик не испугался.

– Я не вожу телег, не ем овса, – сказал он. – Делаю то, что в моих силах. – Подбросил в руке пакетик с таблетками. – Только так он выдерживает весь этот дурдом... говорит, что ему надо поддерживать тонус, и других способов знать не желает...

– Но ведь это не может долго продолжаться...

– Организм у него медвежий, да и дальше тремы пока не доходило...

– Тремы?

– Начальная форма бреда при шизофрении, – с улыбкой сказал Тарасик. – Я, кстати, врач по диплому. Психиатр.

– М-м... а потом?

– А потом больница, рехаб, мир и покой. До новой постановки. Так он устроен. Увы, дорогая Нора, to be thus is nothing, but to be safely thus...<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> «Быть тем, кто ты есть, значит не быть никем, если не можешь быть им без опаски», «Макбет», III, 1 (англ.).

Тем вечером она поймала насмешливый взгляд Тарасика, сидевшего рядом с Доном на диване, рука в руку, и поняла, что если она ничего не предпримет, Дон для нее будет потерян.

После генеральной репетиции она толкнула Дона в машину и отвезла в Агуреево, в свой загородный дом.

Всю дорогу она молчала, а Дон прикладывался к фляжке и болтал без умолку, говорил, что трагедия сейчас никому не нужна, потому что и в России, и в мире все больны, все слабы, а трагедии нужны только сильным и здоровым людям, но не нынешним сильным и здоровым людям, потому что они сегодня поголовно – качки и дебилы, такова уж эпоха, которая нам выпала, эпоха, не заслуживающая ни оплакивания, ни осмеяния...

– А зачем, собственно, мы сюда приехали? – спросил он, когда они раздевались в прихожей.

– Ты показал мне свою темную сторону, – сказала она, – теперь мой черед. – И распахнула двери в гостиную. – Ньюша, познакомься с моим другом.

Улыбка погасла на лице Дона, когда он увидел Ньюшу.

Девочка шла через гостиную, при каждом шаге резко заваливаясь на правый бок. Она смотрела на Дона, сдвинув брови на переносье. Лицо у нее было напряженным и мрачным.

– Донатас, – сказал он, протягивая руку. – Это литовское имя. Я родился в Паневежисе. Это маленький красивый городок в Литве... но я там давно не был...

– Почему? – спросила Ньюша, остановившись перед ним и будто не видя протянутой руки.

– А я вырос в России... в Новосибирске, потом в Москве... отец был военным, много ездили...

Девочка посмотрела на мать.

– А где Рита? – спросила Нора.

– У нее сегодня гости.

– Уже поздно, Ньюша...

– Спокойной ночи, – сказала девочка. – Кивнула Дону. – Тебе тоже, литовец.

Дон не мог отвести взгляда от ее спины, а когда дверь за девочкой закрылась, шумно перевел дыхание.

– Ей скоро десять, – сказала Нора. – Две неудачные операции. Из-за нее боюсь рожать второго...

– Красивая ведь девочка, – сказал Дон.

– Тем больнее...

Дон промолчал.

– Растет злокой и сучкой, – сказала Нора. – Нет, я не схожу с ума от чувства вины, но не хочу ее потерять. Не могу. Ты – часть моей жизни, а она – моя жизнь. – Помолчала. – Ты мне очень дорог, но так уж получилось, что мне не приходится выбирать... а у тебя есть выбор...

Дон привлек ее к себе, обнял.

– Я попробую, – сказал он. – Попытаюсь.

В день премьеры она с утра пораньше уехала к Молли – хотелось одиночества.

Подруга по стрип-клубу дважды побывала замужем, оба мужа погибли в бандитских разборках, оставив вдове по квартире. Четырехкомнатную на Страстном Молли сдавала и жила на эти деньги с третьим мужем в Риеке, а вторую держала «для себя» – ей нравился вид из окон на Царицынский парк.

Приезжая в Москву, Молли обязательно звонила подруге. Они гуляли по парку, обедали где-нибудь в центре, заглядывали к Лизе Феникс, потом допоздна болтали на скамейке в парке, потягивая из фляжки.

Молли не отличалась ни вкусом, ни умом, часто сетовала на свою худобу: «Любовь любовью, а толстые сиськи всегда сверху», но была единственной задушевной подругой.

Нора купила булку и до обеда кормила уток в парке.

Было холодно, парк на другом берегу пруда был черным и золотым.

Плотно пообедав, она поспала, укрывшись одеялом с головой, потом выпила чаю и попыталась дозвониться до Дона – его телефон молчал. Что ж, они договорились явиться в театр порознь, волноваться было незачем.

В баре у Молли всегда был хороший выбор напитков. Нора наполнила маленькую фляжку испанским бренди, перекрестилась перед зеркалом, вызвала такси и отправилась в театр.

После всех одеваний-переодеваний, после того как Розочка превратила ее лицо в яркую маску, Нора осталась, наконец, одна. Глотнула бренди, откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Скоро начнет заполняться зал, скоро заскрипят кресла, застучат каблучки, зашуршат платья, запахнет духами, скоро ударит первый звонок, все звуки болезненно усилятся, кто-то непременно пробежит по коридору, шепотом чертыхаясь, где-то что-то упадет, второй звонок, пальцы на ее левой руке вдруг онемеют, третий звонок, и вот первые звуки – тихий скрежет, постукивание, хруст, и вот вступает первая ведьма: «Когда нам вновь сойтись втроем в дождь, под молнию и гром?», и скоро выход Норы – она окажется лицом к лицу с тысячеглазым чудовищем, жадно внемлющим, жарко дышащим в мерцающей золотом полутьме и жаждущим ее крови...

Но на этот раз все было иначе. Сначала она услышала негромкие голоса за дверью, потом без стука вошел помреж Осинский, какой-то слишком большой, слишком бледный, и сказал, глядя на нее в зеркало, что Дон умер. Она повернулась к нему, и он, опустив глаза, повторил: «Умер». В ее грим-уборную вдруг набилось множество людей, и все говорили, кто-то шепотом, кто-то слишком громко, какая-то женщина плакала, все говорили и говорили – о Доне, лежащем сейчас на полу в своей гостиной на Покровке, раскинув руки, в окровавленной белой рубашке, две пули в грудь, Боже, две пули в грудь, да что ж это такое, все говорили о Тарасике, об исчезнувшем сукином сыне Тарасике, его ищут, но черта с два его найдешь, этого протейческого мерзавца, этого безликого получеловека-полутень, этого *превращенца*...

– Превращенца?

Нора вдруг рассмеялась.

Осинский принес рюмку коньяку – Нора выпила залпом.

– Нет, – сказала она, – ничего отменять не будем. Играем!

И все вдруг замолчали, кто-то вышел, за ним остальные, и через минуту она осталась одна – перед зеркалом, лицом к лицу с незнакомой женщиной, узкой сукой, размалеванной, с тяжелым взглядом и сухим блеском в глазах. Ее позвали, и она бросилась к сцене, перевела дыхание, кивнула, взяла онемевшими пальцами письмо, вышла из-за кулисы, стала читать письмо вслух, не глядя по сторонам: «Они повстречались мне в день торжества; и я убедился достовернейшим образом, что они обладают большим, чем смертное знание...» А потом, дождавшись своей очереди, вскинула голову и, глядя в лицо Макбету, с улыбкой заговорила таким голосом, что даже у кавдорского тана мороз побежал по коже: «О, никогда над этим утром солнце не взойдет!...»

Она доиграла спектакль до конца, дождалась выхода на поклон, покивала, поулыбалась, потом вернулась в грим-уборную, попыталась запереться, но не смогла попасть ключом в замочную скважину и потеряла сознание, упав под дверью с ключом в судорожно сведенной руке.

Нора очнулась, выползла из-под одеяла – на ней ничего не было – и пошла в темноту, пошатываясь и ориентируясь на звук, который ее разбудил.

Станный звук – как будто кто-то напевал песенку без слов, тихонько хлопая при этом в ладоши.

Выставив перед собой руку, она брела по коридору, который не был коридором в ее квартире или загородном доме, но почти не думая об этом. Сил не было, чтобы думать о чем бы то ни было. Думать и делать – не было сил. Если и возникала мысль, то угасала сама собой, не

получив ни крови, ни духа. У Норы не было ни крови, ни духа – только вялое тело, которое лежало пластом в чужой спальне, иногда сползая с кровати, чтобы справить нужду. Если бы не этот странный звук, она не тронулась бы с места. Странный звук...

Она остановилась, почувствовав, что коридор кончился и впереди, в темноте, ее ждало большое пространство, большая тьма, из которой пахло скипидаром и доносился странный звук.

Нашупав перила, спустилась по лестнице и двинулась на звук.

Глаза привыкли к темноте. Она различала очертания каких-то предметов – квадраты, прямоугольники, обошла стул, увернулась от тяжелой ткани, свисавшей с потолка, и увидела свет.

На полу и на стульях горели свечи, бросавшие слабый мерцающий свет на мольберты, картины, ящики, коробки, разбросанное всюду тряпье, на валявшиеся под креслом грубые башмаки, на огромного зверя, который издавал странные звуки, похлопывал в ладоши и приплясывал на пяточке среди колеблющихся огоньков.

Этот голый зверь был сплошь покрыт черным густым волосом, и от него пахло крепким потом и скипидаром, а когда он повернулся к Норе, она почувствовала такой запах перегара, что в голове помутилось, и она упала бы, не подхвати ее чудовище.

Он отнес ее наверх, в спальню, уложил, бережно укрыл одеялом.

При свете торшера, горевшего в углу, Нора наконец смогла разглядеть его. Это был, черт возьми, Кропоткин, художник, оформивший постановку «Макбета». Раза два или три он приходил на Покровку, чтобы обсудить декорации и костюмы, приносил эскизы, и Нора даже поругалась с ним из-за нелепой шапки, которую должна была носить леди Макбет. Впрочем, никакой ссоры и не было – сошлись на уборе, напоминая тот, что был на голове Жанетт Нолан в фильме Орсона Уэллса, хотя Кропоткин считал, что эта шапка будет «квадратить» Норино лицо. Да, квадратить – он так и сказал: «Квадратить». Они тогда выпили на брудершафт и поцеловались в губы. У Кропоткина были мясистые, толстые губищи сладострастника, а глаза маленькие, слишком близко посаженные. Потом он несколько раз приходил на репетиции. А еще, вспомнила она, он почему-то оказался в ее грим-уборной, когда Осинский сказал, что Дон умер. Кропоткин стоял в углу, возвышаясь над всеми, и не сводил с нее взгляда. На нем были пиджак и галстук-бабочка – выглядел художник очень импозантно. А голый – обезьяна обезьяной. Горилла. Орангутан. Шапка густых курчавых волос на голове, бородаща, грудь, брюхо – сплошные заросли, из которых высовывается гигантский член.

Нора улыбнулась, Кропоткин хмыкнул, сел на край кровати так, чтобы члена не было видно, и стал рассказывать о том, что произошло.

Он был в восторге от спектакля, восхищен игрой Норы и первым прибежал к ней с цветами, постучал – никто не ответил, попытался открыть дверь грим-уборной, увидел в щель руку Норы на полу, налег, ворвался, подхватил и бросился в больницу. На следующий день он перевез ее в клинику Мильштейна, а через неделю – к себе.

– Шок, нервный срыв, депрессия, – сказал он. – Вы спали три недели, пришлось подвергнуть вас искусственному кормлению. Потом стали просыпаться...

– Три недели, – пробормотала Нора. – А что сегодня? Какой день?

– Пятое, – сказал Кропоткин. – Декабря пятое. Вы здесь давно, Нора.

– Значит, я валяюсь тут...

– Больше двух месяцев.

– Твою ж мать... – Она слабо улыбнулась. – И больше двух месяцев я сигаю тут голышом?

– Ага, – сказал Кропоткин. – Голизна вам идет.

– Голизна... А кто играет леди?

– Шувалова-младшая. Говорят, хорошо играет. Я собрал все газеты, где о вашей премьере написано. Резюме: всеобщий восторг. Семеновский написал, что и вообразить не мог,

что на театре можно играть *так*. Лучшая леди Макбет в истории русского театра, плетена мать. А почему он написал «на театре»? Жаргон?

– Да, – сказала Нора. – Зрители говорят в театре, актеры – на. На театре.

– Завтракать будете?

– Не знаю... – Похлопала ладонью по одеялу. – Полежите со мной, пожалуйста. Просто полежите. Нет, под одеялом. Под, а не на.

Он лег рядом.

– Мне, Нора, вы можете довериться без страха, – сказал он весело, когда она прижалась к нему. – Я – импотент, плетена мать. Люблю целоваться, обжиматься, а что касается остального...

– Ну так поцелуйте меня, – перебила она его. – В губы...

Новый год они встречали в Провансе.

Бывшая жена Кропоткина уехала в Австралию, оставив ему ключи от квартиры в Арле и загородного дома.

– Похоже, – сказала Нора, – она тебя все еще любит...

– Ну какая у них тут любовь! Если б они любили, то есть по-настоящему, как встарь, Европа была бы завалена трупами от Варшавы до Лиссабона... не пройдет и ста лет, как они все станут андрогинами – счастливыми андрогинами...

Взяли с собой Ньюшу и Риту, которая была для девочки и няней, и учительницей.

Летели до Парижа, оттуда поездом до Нима, где Кропоткин арендовал машину, на которой они за полчаса добрались до Арля, припарковались во дворе старинного дома, выходящего фасадом в сквер на площади Форума, и отправились ужинать.

Потом прогулялись по узким средневековым улочкам, на которых изредка попадались лишь арабы в галабиях, встретили Новый год на площади Республики – в толпе, с шампанским в пластиковых стаканчиках, вернулись домой, свалились.

Нора долго не могла уснуть, думая о Кропоткине, который овладевал людьми с такой легкостью, будто и не слышал никогда о том, что все гении – неуживчивые, замкнутые люди с серной кислотой вместо крови. Он поселил Нору в своем доме, и она сразу подчинилась ему, не чувствуя себя при этом ущемленной, изнасилованной. Он не заигрывал с Ньюшей, просто протянул руку не глядя, и злючка Ньюша взяла его за руку и пошла рядом, словно они всегда так ходили. Он не подлизывался, не уговаривал, не требовал, но все вели себя так, как ему нравилось, потому что им нравилось быть избранными, тронутыми им. Когда он обнимал Нору своими могучими волосатыми лапами и прижимался к ней мохнатым животом, она чувствовала себя как в детстве, когда еще не знала, что несчастна. Наверное, все дело в его огромности, думала Нора, в его невероятной физической силе, которая притягивает, увлекает в свою орбиту малые тела. Однажды, еще в Москве, она видела, с какой яростью он орудовал молотом, разбивая на мелкие кусочки свою неудачную скульптуру, видела его лицо, изуродованное злобой, и слышала его рычание, от которого у нее мурашки побежали по спине. Но когда он с урчанием сосал пальчик на ее ноге, она словно лишалась веса. Это было не наслаждение, а счастье. Многие мужчины доводили ее до оргазма, но до счастья – только он.

Незадолго до отъезда из Москвы она спросила, что же произошло с Доном, и Кропоткин выложил все, что знал.

Тарасика взяли на даче, принадлежащей известной театральной старухе, и на первом же допросе он признался во всем. В том, что любил Дона до помрачения ума, в том, что страдал, видя его с Норой, в том, что мог вытерпеть что угодно, только не холодное презрение, которым Дон окатил его, когда он, Тарасик, утром того рокового дня попытался от избытка чувств поцеловать руку любимого мужчины, только руку, эту прекрасную мраморную руку, украшенную чуть вздувшимися голубоватыми жилами, но вместо понимания, любви, вместо жалости Дон отдернул руку, скривился и зашипел, вытирая пальцы о рубашку: «Пшел вон, дурачина!», и

этого Тарасик вынести не мог, нет, не мог, потому что понял: это конец, выбежал в прихожую, достал из сумки пистолет, догнал Дона в гостиной, закричал, сорвался на визг и торопливо выстрелил три или четыре раза, а потом рухнул рядом с окровавленным телом и зарыдал, целуя его руки, эти божественные руки, украшенные голубоватыми жилами...

– Что с ним? – спросила Нора. – С Тарасиком что?

– Повесился в камере, – ответил Кропоткин. – Язык у него висел до пупка... лиловый язык...

Нора выслушала эту историю с хмурым видом. Ей казалось, что все это произошло давно, очень давно. Дон был частью ее жизни – той частью, которая умерла. А вот Кропоткину она свою жизнь отдала – легко, без сопротивления, содрогаясь от счастья...

Они прожили в Провансе почти три месяца.

Днем было тепло, солнечно, они гуляли по улочкам Арля в распахнутых куртках, Рита учила Ньюшу правильно выговаривать названия книг, выставленных в витрине: «Ля философи дан ле будуар, Ньюша, ле здесь не лё! Эпитр а ма мэн гош, Ньюша! Вояж о бу де ля нюи, Ньюша, нюи, милая, нюи...»

В Авиньоне Рита вдохновенно рассказывала о некоей знатной даме, которой власти средневекового города разрешали появляться на людях не чаще раза в неделю, да и то на балконе и под вуалью, дабы красота этой семидесятилетней женщины не вызвала массовых волнений.

В Тарасконе Нора впервые увидела, как в церкви Святой Марты Кропоткин перекрестился.

– Ты верующий? – спросила она.

– Христианин должен быть светочем, а я иногда лампочку в комнате боюсь включить, – ответил он уклончиво.

Недели две они жили в загородном доме Клэр, бывшей жены Кропоткина. Она занималась историей русского искусства, в доме было полно старых и новых книг, изданных в России. Нора взяла одну – это был Бибихин, зачитанный, захватанный, с закладками и пометками, открыла, сразу наткнулась на абзац, рядом с которым на поле стоял жирный восклицательный знак: «Для полноты надо, чтобы многое с человека осыпалось, или было бы даже уж пусть хоть насильственно содрано как одежда, и надо, опять же для полноты человека, чтобы он взял себя ВМЕСТЕ с пределом, границей, имена которой нищета, сон, смерть, молчание рыбы, молчание куста. Как раз когда человек, ощупывая себя в панике, видит исчезновение своего всестороннего и беспредельного развития, если он не поддастся панике, у него откроется второе дыхание. Или впервые откроется дыхание...»

– Твои пометки? – спросила она. – Вот тут... и здесь...

– Угу, – сказал Кропоткин. – Это мечта. Замолчать *так* – это мечта.

В музеях, церквях, кафе – Ньюша всюду старалась держаться ближе к Кропоткину. Она ковыляла рядом с ним, и вид у нее был такой, словно правая ее нога не была короче левой на одиннадцать сантиметров.

В конце марта они прилетели в Москву, и через неделю Нора вернулась в театр.

Она долго не решалась играть леди Макбет, а когда все-таки вышла на сцену в короне, которая квадратила ее лицо, то разочаровала зрителей, ожидавших от нее той взбесившейся психопатки, страдающей высокой любовью к злу, какой она была на премьере, а не этой холодной гадины, неумолимой машины зла, перемалывающей людей и себя.

Однако критик Семеновский, которого театральные не любили за его резкость, вдруг разразился благожелательной статьей, в которой писал, что мы должны быть благодарны судьбе и Норе Крамер за то, что полгода назад стали свидетелями чуда, а чудо неповторимо. Известно, замечал Семеновский, что физически невозможно играть на сцене изо дня в день с такой самоубийственной отдачей всех сил, это свойственно скорее новичкам, дилетантам, а не профессиональным актерам, отдающим театру всю жизнь. Мы, писал он, видели такую леди Макбет,

какой, пожалуй, еще не бывало в истории театра и, возможно, никогда больше и не будет. И нам, писал Семеновский, остается надеяться на то, что Нора Крамер, актриса поистине великих возможностей, поразит нас еще и в других ролях...

Прочитав эту статью, Нора с улыбкой пожала плечами: все было проще – она не могла вернуться к своей блевотине, к Дону в окровавленной рубашке, к его мраморным рукам с голубоватыми жилами, к Тарасику с его лиловым языком, висевшим до пупка, к той Норе, какой она тогда была...

Осенью Кропоткин сделал Норе предложение.

– А лампочки у нас не перегорят? – со смехом спросила она.

– Заменим, – ответил он. – А нет, так будем жить во тьме, как все.

Венчались в Знаменской церкви – так пожелал Кропоткин.

Он часто бывал в этой церкви, через дорогу от которой, за невысоким забором, лежало «расстрельное кладбище», где были похоронены прадед и дед Кропоткина – старый большевик и старый меньшевик.

В церкви Нюша была мрачной, холодной, раздражительной, и Нора понимала: дочь влюблена в Кропоткина и теперь ревнует его к матери. Что ж, у девочек не бывает неопасного возраста. Это надо пережить, перетерпеть.

Нора радовалась близости Нюши и Кропоткина, хотя иногда при взгляде на них, устроившихся на диване в обнимку и рассматривающих какой-нибудь альбом, в душе ее поднималась смута. Но не могла же она мешать их сближению. Приходилось мириться с тем, что у Нюши теперь есть *мужчина* – и друг, и отец, и возлюбленный, тем более что их отношения не переходили границ допустимого.

Однажды Нора слышала, как Кропоткин сказал Нюше: «Не возвращайся в прошлое и не думай о вечной жизни, это все брызги и тень. Учись ходить в немощи, и в ней будет совершаться сила Божия. Искусство немощи – это высокое искусство, учись ему. Помнишь фарисея из евангельской притчи? Господь сравнил его с кающимся мытарем. Дело не в том, что этот фарисей гордился своими делами, это чепуха. Фарисей на то и фарисей, плетена мать, чтобы понимать, что всем обязан Богу. Просто этот фарисей неправильно понимал праведность. Даже благодаря Бога, можно любоваться собой...»

Получалось, ее дочь, которую она крестила, потому что так поступали все, стала верующей, читает Евангелие и помнит какого-то там, черт возьми, фарисея, владеет специальным языком и умеет думать специальным образом, как думают настоящие верующие. Нора этим языком не владела, а значит, для дочери она была глухонемой. И понимала, что нельзя просто так взять да выучить этот язык, как учат английский или латынь, – этого мало, чтобы войти в иной мир, такой чуждый карнавалному миру театра, в котором христианин или язычник – не судьба, а роль...

Она все готова была терпеть, потому что Кропоткину удалось то, что не удавалось ни хирургам, ни высокооплачиваемым психологам, ни даже Рите, которая давно стала для ее дочери и старшей сестрой, и подружкой: Нюша больше не считала себя лишней, ненужной, уродливой – она светила, когда видела Кропоткина, и этого света хватало даже матери, хотя до нее этот свет доходил, утратив весь жар...

Первое замужество Норы было каким-то глупым. Она была тайно влюблена в своего учителя Ксавье, оказавшегося гомосексуалистом, она была в отчаянии, когда Ксавье посадили в тюрьму, она была одинока, некрасива, талантлива, после школы попыталась поступить в медучилище, но неудачно, о том, чтобы уехать в Москву, в театральное училище, и думать боялась, да и денег не было, в общем, как ей казалось, замужество было решением всех проблем. Соседский парень Миша подходил для этого не хуже других, раз уж она решила жить не своей жизнью.

Не вышло.

Сначала она родила ребенка-кататоника, от которого вскоре пришлось избавиться, потом эти полубоморочные месяцы в магазине среди банок с красками, дома перед телевизором, водка с лимонадом, Бензина с ее мечтами о московских «глаголах», ее баянист, а однажды Миша вдруг схватил нож, закричал: «Да провались оно все пропадом!» – и перерезал себе горло на глазах у жены, тещи и баяниста, забрызгав всех кровью, и все рухнуло, и она оказалась в центре мира, окруженная развалинами и мертвыми телами, и бежала в Москву, прихватив из прежней жизни только мужнину фамилию – Тавлинская...

Второе замужество тоже было недолгим.

Она тогда жила веселой и страшной жизнью, как в горячечном сне: утром занятия в театральном училище, Станиславский и Гротовский, запахи канифоли и клея, сосиска в тесте на бегу, лвы, орлы и куропатки, а вечером – вечером она становилась Бешеной Элли: шест, боль, яркие огни, стодолларовые купюры в трусиках, кипящий в венах спирт, пальцы мужчин, униженные толстыми перстнями, красные пиджаки, голды на бычьих шеях, тестостерон, пачки денег, перевязанные резинкой, труп голой татуированной девушки в туалете, забрызганном кровью, «мерседесы» на пустынных черных улицах, розовое шампанское, беретта и ролекс на ночном столике, россыпь таблеток на ковре, секс с человеком, который утром даже не спрашивал, как ее зовут, и снова лвы, орлы и куропатки...

Генрих Крамер, потомок крымских немцев, выдернул ее из этого круговорота и увез в Италию, где они провели месяц, путешествуя по Сицилии, а потом по Тоскане, и во Флоренции, в кафе рядом с площадью Синьории, сделал ей предложение – встав на колени, с кольцом в коробочке, выложенной атласом, со скрипачами в плоских шляпах, вдруг окружившими их столик, на который официанты водрузили громадную вазу с алыми розами...

Свадьба в Большом Кремлевском дворце, тысячи гостей – журналисты, нажившиеся на торговле противогазами, политики в шелковых пиджаках, бесполое существа в черной лаковой коже, звезды шоу-бизнеса в очках с бриллиантами, известный врач в кашемировом пальто до пят, в широкополой шляпе, с тигренком на поводке, седовласые отставные шпионы с сигарами, вчерашние политзаключенные, беседующие с бандитами, одетыми в костюмы от Версаче, наследник российского престола в окружении князей и графов – детей палачей НКВД, расстреливавших князей и графов, известный целитель в белоснежной хламиде, украшенной голубыми крестами, министры, спортсмены, евреи, актеры, грузины, епископы и водолаз в полном облачении, в медном шлеме с фонарем, едва передвигающийся от стола к столу в башмаках со свинцовыми подметками...

А потом был медовый месяц во Франции, где Генрих арендовал Гранд Опера, чтобы еще раз отпраздновать свадьбу с теми друзьями, которые по разным причинам не могли показаться в России, после чего они поехали в Аквитанию...

Дом в Москве, поместье под Биаррицем, роскошный особняк на Рублевке и уютный коттедж в Агуреево, десяток лимузинов и джипов в гараже, бронированный «мерседес» с мигалкой, лучшие рестораны, лучшая еда, лучшее вино, лучшая одежда, сотни людей вокруг, готовых исполнить любое ее желание...

Просыпаясь по утрам, она первым делом бежала в ванную, чтобы убедиться, что это не сон – этот испанский кафель, эти золотые краны, фарфор и фаянс, эта розовая ванная с джакузи, бар с шампанским и массажное кресло под балдахином рядом с душевой кабиной.

Она не верила, что все это – деньги, дома, лимузины и балдахины – надолго, навсегда, да и никто тогда не верил, что такая жизнь – навсегда...

Генрих хотел ребенка, и вскоре Нора забеременела. Выступления в стрип-клубе, спектакли, роли в кино – все это уходило в прошлое, и Нора не знала, вернется ли на сцену, и не знала, хорошо это или плохо, и что будет дальше – тоже не знала. Впервые в жизни ее несло течением, и бороться с этим течением было не нужно, да и не хотелось...

В тот день, когда Ньюше исполнилось три месяца, Генриха застрелили в очереди у «Макдональдса» на Пушкинской площади. Вокруг носились на скейтбордах мальчишки, ловко прыгавшие через бордюры и ограды и воровавшие со столиков кока-колу и гамбургеры, один из них вдруг въехал в толпу, дважды выстрелил в Генриха, бросил пистолет и умчался, размахивая пакетиком с краденой картошкой фри. Генрих умер на месте. Почему вдруг человек, презиравший фаст-фуд, оказался в этой очереди, кто и за что его убил – никто так и не узнал.

В газетах писали, что Генрих Крамер нажил состояние на посредничестве в сфере внешнеэкономических связей. Бизнесменов, возивших из-за границы дорогую мебель, сантехнику и стиральные машины, он сводил с министрами, с которыми учился в школе или институте. Подпись министра на документе, облегчавшем ввоз итальянских стульев, стоила двести-триста тысяч долларов. Сколько перепладало Генриху – об этом можно было только догадываться.

После похорон Нора вздохнула с облегчением: морок рассеялся, она снова была одна.

Ей не хотелось затяжных военных действий с многочисленными родственниками мужа, с его дедом, матерью и сестрами, племянницами, бывшими женами, их детьми, претендовавшими на имущество Генриха. Она согласилась на отступные: пособие для Ньюши и дом в Агурево, где в гараже стоял новенький «крайслер», который на языке того времени назывался «кукурузником».

С первым мужем она прожила четырнадцать месяцев, со вторым – шестнадцать, с Кропоткиным – почти шесть лет.

После репетиций она иногда заглядывала в кабинет старика Полонского, заведующего литературной частью театра, который угощал ее душистым чаем с капелькой коньяка и милыми нравоучительными историями. За свою жизнь он был девять раз женат и сочинил около двух десятков развлекательных романов под разными псевдонимами.

– Искусство романа сродни искусству семейной жизни, Нора, – рокотал он, дымя сигаретой. – У этого искусства есть название – искусство болтовни. Надо ведь заполнять чем-то все эти страницы и все эти годы, причем так, чтобы это не убивало ни книгу, ни брак. В юности мне казалось, что как только я скажу жене: «Передай, пожалуйста, соль», наш брак рухнет. Стендаль писал, что если он однажды подойдет к окну и воскликнет: «Какое прекрасное утро!», то сразу же возьмет пистолет и застрелится. Каждая фраза должна быть значимой, думал я. Как у Софокла или Шекспира. Но жизнь состоит из ничего не значащих слов, дурацких реплик и прочего мусора, и дело не в мусоре, а в нас... Вот, скажем, чеховские пьесы почти целиком слеплены из такого мусора, а мы страдаем и плачем... Сегодня мы в каждой строчке Пушкина или Шекспира выискиваем глубокий смысл, но, возможно, для авторов эти строчки были неизбежным злом – прекрасным мусором, заполняющим пустоты... В том-то и заключается разница между Пушкиным и мной, что мусор у нас разного качества... Искусство болтовни, Нора, это высокое искусство, это известь, которая скрепляет людей не хуже водки и секса... еще капельку?

И они пили из крошечных рюмочек, поднимая тост за известь.

В ее семейной жизни лампочки не перегорали, но напряжение в сети перестало скакать. Нора осваивала искусство быть женой. Она по-прежнему была счастлива в объятиях Кропоткина, но могла обходиться и без этого, если муж бывал занят. А занят он бывал все чаще, сутками пропадая в мастерской.

В одном из интервью, отвечая на вопрос о творческом кризисе, Кропоткин сказал, что переживает кризис с пятилетнего возраста. В семидесятые-восемидесятые годы он был среди первых звезд андеграунда, побывав и абстракционистом, и концептуалистом, и даже каким-то неометафористом. В конце восьмидесятых он создал работы, принесшие ему мировую известность и, разумеется, деньги. Этот период в его творчестве искусствоведы называли периодом «красного и черного» – две краски придавали образам мощное звучание, хотя смысл картин угадывался с трудом, мучительно пробиваясь сквозь напластования буйных и мрачных цветов.

Как писал один из критиков, «смысл мерцает где-то там, в глубине, где корчатся догорающие люди». Многие отмечали, что Кропоткин движется к фигуративной живописи. Важным этапом в его творчестве стали декорации к «Макбету» Донатаса Таркаса, цветовая гамма которых контрастировала с тональностью шекспировской трагедии.

Нора заметила, как в Провансе Кропоткин с удовольствием делал в дорожном альбоме карандашные наброски портретов стариков, куливших в кафе над своим полуденным бокалом вина, наброски Ньюши и Риты, игравших в шахматы, розовой пышки из дома напротив, которая любила по утрам голышом выкурить первую сигарету на балконе...

Карандашные портреты Норы, Ньюши, стариков и старух, бомжей с Плешки, Дона, Тарасика, Молли, священника Знаменской церкви и лодочников из соседнего села были развешаны в его мастерской всюду – перед ними Кропоткин разгуливал голышом, потягивая коньяк из горлышка, рычал, чертыхался или спал, завернувшись в старую штору...

Нюша с презрением отказывалась позировать в ателье, где висели ню матери, поэтому Кропоткин писал ее в саду или на крыше флигеля, в котором когда-то предполагалось устроить бассейн.

Самой благодарной его моделью оказалась Рита. Этой веселой курносой толстушке, обладавшей тонкой талией и пышными бедрами, страсть как хотелось быть «запечатленной». Она по первому слову сбрасывала одежду и с радостью, кокетливо хихикая и чуть розовея от смущения, демонстрировала хорошо пропеченные груди и глянцевые тугие ягодички, пока художник разглядывал ее, задумчиво покусывая курчавый ус.

Нора не удивилась, узнав о ночных сеансах в мастерской, после которых учительница выходила к завтраку, стараясь не смотреть в глаза хозяйке, – удивилась тому спокойствию, с которым приняла эту новость. Вспомнила любимую поговорку Молли: «Любовь любовью, а толстые сиськи всегда сверху» – и сделала вид, что ничего не происходит. Как говаривал старик Полонский, проблемы никогда не решаются – они проходят.

С Митей Бессоновым ее познакомил Полонский.

Они пили чай в его кабинете, когда старик сказал, что один журналист пишет о ней книгу и очень хотел бы познакомиться со своей героиней.

– Я так стара, что обо мне уже книги пишут? – попыталась пошутить Нора.

– Он большой ваш поклонник, Нора, – сказал Полонский. – И поверьте, будет лучше, если он напишет эту книгу под вашим присмотром... получит информацию от вас, а не о вас... вы обаятельная женщина, а он никак не может изжить комплекса провинциала и до сих пор не поймет, то ли он Растиньяк, то ли Жюльен Сорель, то ли все-таки Митя Бессонов...

В те дни Нора переживала провал. Она возлагала большие надежды на «Федру», которую ставил Уманский, но ей не удалось вернуться на вершину, достигнутую в «Макбете». Хотя критики сдержанно хвалили ее, хотя билеты на спектакль были распроданы до конца сезона, Нора понимала, чувствовала, что ей не удался этот образ. Она тянула из себя все жилы, вставала на цыпочки, но все было безрезультатно. Поговорить об этом с мужем никак не удавалось – он все глубже погружался в работу, дочь по-прежнему обдавала ее холодом при каждой попытке сближения, а Лиза Феникс, с которой она провела несколько ночей, отчаянно напиваясь и занимаясь любовью, была женщиной мудрой, но, увы, не умной...

Через неделю она встретила Бессонова в маленьком кафе на Никитской.

Журналист оказался очень высоким, широкоплечим молодым мужчиной с боксерским носом и пронзительно-голубыми глазами. Держался он довольно скованно и был одет в какие-то случайные вещи: ботинки хорошей кожи, грошовые штаны и турецкую куртку-косуху с базара, которая была ему явно мала.

Бессонов жадно выпил водки и сразу заговорил о ее ролях. Он смотрел все спектакли с ее участием, все фильмы и бывал на всех ее выступлениях на Малой сцене МХАТа, где она читала стихи и прозу. Финальную же сцену в «Федре», когда царица, принявшая яд, призна-

ется мужу в своей преступной страсти, Бессонов считал «шедевром исполнительского искусства», «в котором эротическое напряжение обреченной любви сопоставимо со смертоносным эротизмом леди Макбет»...

– Но роль-то я провалила, – сказала Нора. – Просто – провалила.

– Провалила, – со вздохом сказал Бессонов. – Ну бывает...

И вдруг рассмеялся – так рассмеялся, что Нора не смогла удержаться от улыбки.

Они чокнулись.

Стало легко и чуть пьяно, и они заговорили о книге.

Бессонов включил диктофон, и Нора услышала голос своей матери – Бензина пела с над-  
рывом под гитару любимый романс:

Куплю я коробочку спичек  
И в теплой воде разведу,  
И долго я думать не стану,  
Сейчас я отраву приму...

– Боже, – сказала Нора, – вот, значит, как. Значит, без пощады? Вычерпаем до дна? Вы и до матери добрались...

– И до Ксавье. Но еще не поздно, – сказал Бессонов. – Если прикажете, могу остано-  
виться...

– Ну уж нет. – Нора подняла рюмку. – Спустим псов войны!

Она закинула ногу на ногу, увидела, как дрогнуло его лицо, и поняла, что короткое и алое с черным она сегодня надела не напрасно.

После кафе они сели в такси и поехали к Норе – Бессонов хотел взглянуть на ее детские фотографии.

Когда в прихожей он присел на корточки, чтобы снять с ее ноги туфельку, его запах окутал Нору едким облаком, голова у нее пошла кругом, и она вдруг стиснула колени – по бедрам потекло, оттолкнула Бессонова, стала срывать с себя одежду, он подхватил ее на руки, ударился плечом о косяк, в гостиной опрокинул стул, ногой открыл дверь в спальню, бережно опустил ее на кровать, склонился над нею, и тут она укусила его – укусила с наслаждением, до крови...

Все смешалось в ее жизни: животная тяга к Бессонову, его бесстыжая книга, Кропоткин и эта толстуха Рита, несчастная Нюша, корчившаяся от ненависти ко всему миру, новый про-  
ект Уманского, в котором Норе отводилась, конечно же, главная роль, да еще ужасная смерть старика Полонского...

Полонский умер в середине лета, когда театральная Москва опустела, разъехалась в  
отпуска или на гастроли. Жил он одиноко, и его смерть долго никто не замечал, пока соседи  
не вызвали милицию: запах из квартиры стал невыносим.

На похоронах рассказывали, что старика нашли на полу. Он лежал в луже засохшей гни-  
лостной жидкости, голый, зеленый, сдувшийся, как проколотый воздушный шарик, тело его  
было покрыто венозной сетью грязно-красного цвета, и когда его попытались поднять, на пар-  
кете остались куски плоти...

В кафе, где были устроены поминки, у Норы случился нервный срыв. Она вдруг раз-  
рыдалась, никак не могла остановиться. Бессонов отвел ее в какое-то служебное помещение,  
принес коньяк, она выпила, они занялись любовью на полу среди ведер и рулонов коврового  
потом она снова разрыдалась. Бессонов вызвал такси, Нора захлопнула дверцу перед его носом  
и уехала за город.

Кропоткин нашел ее в кухне, где она плакала, допивая бутылку коньяка, взял на руки,  
отнес в спальню, лег рядом, она прижалась к его волосатому животу и заснула.

Утром она встала раньше всех, провела час в тренажерном зале, выпила литр апельсинового сока с лимоном, приняла ледяной душ, приготовила завтрак, уволила Риту – Кропоткин и Нюша промолчали – и занялась Маргаритой Готье.

Когда Уманский предложил ей главную роль в «Даме с камелиями», она растерялась. Роль Маргариты Готье, безусловно, входила в виш-лист любой актрисы наряду с Джульеттой, Федрой и Ниной Заречной. Но Джульетту ей уже было не сыграть, а Федру она провалила, что бы там ни говорили Бессонов и Семеновский.

Уманский был настойчив.

Они вместе посмотрели «Даму с камелиями» Джорджа Кьюкора с Гретой Гарбо, итальянскую постановку с Франческой Нери и байопик о Мари Дюплесси, прототипе Маргариты Готье, с Изабель Юппер в главной роли.

Уманский вспомнил, как Кьюкор и его сценаристы бились над коллизией, связанной с ролью падшей женщины в высшем обществе:

– В тридцатых годах эта тема была весьма щекотливой.

Нора расхохоталась и рассказала о своей свадьбе в Большом Кремлевском дворце, на которой каждый второй министр, диссидент и модный философ разгуливал под ручку с патентованной шлюхой.

Уманский сказал, что в роли Армана Дюваля он видит Никиту Журавского:

– Простоват до глупости, но искренен и чертовски красив.

Нора считала, что роль отца Армана важна не меньше, и они поспорили, кто сыграет ее лучше – Артем Кириленко или Безбородов-старший.

Она и не заметила, как втянулась в эту игру.

Премьеру назначили на осень, ранней весной начались репетиции.

Смерть Полонского, отчуждение Кропоткина и Нюши, животные случки с Бессоновым – теперь ничто не могло помешать ее успеху. Не должно и не могло.

Но сначала состоялась премьера книги Бессонова.

Презентацию решили провести в стрип-клубе «Феникс», чтобы заинтриговать журналистов.

Нора проследила за тем, чтобы Бессонов был правильно одет: денег на любовника она не жалела. Ему нравились красивые вещи, и вообще, он часто говорил ей, что алчность – его личный смертный грех, обожаемый грех.

Зал был полон. За столиком у сцены сидел с молоденькой любовницей постаревший Семеновский, скрывавший морщинистую шею при помощи искусно повязанного шелкового кашне. За соседним столиком Нора устроила Кропоткина с Нюшей.

Вел презентацию Уманский, не скрывавший впечатлений от книги, которая поразила его своей откровенностью на грани эпатажа. Никита Журавский и Алиса Алиева читали отрывки из биографии. Журналисты наперебой задавали вопросы – чаще всего о мужчинах Норы, о ее сексуальной ориентации и карьере звезды стриптиза.

Бессонов говорил много, возбужденно, иногда пережимая, переигрывая: ему очень уж хотелось понравиться публике. Рассказывая о детстве и юности Норы, он несколько раз назвал ее «наивной дурочкой» и «провинциальной простушкой», неприятно пощелкивая при этом пальцами. Нора видела, как при этом менялось лицо Кропоткина, а дочь попыталась уйти – ее удержала Лиза Феникс.

Наконец пресс-конференция закончилась, и Уманский объявил, что сейчас всех ожидает сюрприз.

В зале погас свет, вступила музыка, вспыхнули софиты, и на сцене появилась Нора Крамер – с распущенными волосами, в сверкающем лифчике, в трусиках, украшенных блестками, в туфлях на высоком тонком каблуке. Она послала в зал воздушный поцелуй, взялась рукой за шест, улыбнулась – и началось представление.

Никогда еще она так не танцевала, никогда еще не чувствовала себя такой свободной, легкой, бездумной, прекрасной, великолепной. Она взлетала по шесту, вращалась, изгибаясь и хохоча, и зал кричал от восторга и аплодировал стоя, и когда Нора увидела радостное, заплаканное и растерянное лицо дочери, хлопавшей в ладоши, то поняла, что ради этих слез она готова умереть – вот сейчас, здесь, на этой дурацкой сцене, под звуки этой дурацкой музыки, бессмертной, как бессмертно само это дурацкое искусство, и расплакалась, кланяясь и посылая Нюше воздушные поцелуи...

Быстро переодевшись, она вернулась в зал. Ее окружили, ее поздравляли, ее целовали, ею восхищались. Она смеялась, подставляла щеку чьим-то губам, раздавала автографы, потом взяла Нюшу за руку – дочь сжала ее пальцы, снова вызвав слезы на глазах, и тут к ней подошла Лиза Феникс, шепнула: «Иди в туалет, да потарапливайся же, я пока с Нюшей побуду».

В туалете было накурено, душно, возбужденные мужчины толкались, пытаясь пробиться внутрь, кто-то громко ругался, кто-то смеялся.

Нора проскользнула между разгоряченными телами, вошла и увидела окровавленного Бессонова, лежавшего в углу, и Кропоткина, которого двое мужчин держали за руки. Огромный, в разорванной на груди рубашке, он рычал, пытаясь вырваться, а когда увидел Нору, одним движением отбросил мужчин и уставился на жену – глаза его были налиты кровью.

Ее по-прежнему била дрожь, ей по-прежнему было весело, и она не испугалась его грозного взгляда. Похлопала себя по бедру и сказала, едва сдерживая смех:

– Кыс-кыс-кыс... ну иди сюда, дурачок, иди, не бойся...

Взяла Кропоткина за руку, и он покорно пошел за нею, слегка покачиваясь и урча, и толпа раздалась, пропуская их к лимузину, в котором уже сидела Нюша. Лиза Феникс – стройная, могучая, невозмутимая – с улыбкой открыла дверь машины и проговорила низким вибрирующим голосом: «Сегодня я б тебя трахнула как никогда, подруга». Нора поцеловала ее в щеку, села в середину, между дочерью и мужем, взяла обоих за руки, сказала: «Трогай!» и рассмеялась – она была счастлива как никогда...

Премьера «Дамы с камелиями» прошла с успехом.

Критик Семеновский писал о «триумфе» и с наслаждением смаковал сцены, в которых «проявился весь талант Норы Крамер, актрисы, несомненно, тонкой и глубокой», он проследил в своей статье за тем, как менялись интонации, пластика Маргариты Готье, привыкшей к лицемерию, к продажной любви и вдруг столкнувшейся с истинным и искренним чувством, как «любовь стала занимать в ее душе все больше места, пока не захватила целиком», как великолепна была Нора в сцене объяснения с отцом Армана Дюваля и как трогательна в финальных эпизодах, «скрытая страстность которых электризует зал до дрожи и слез».

«Это настоящий театр, – писал в заключение Семеновский. – Балаган, призванный вызывать у зрителей простые и сильные чувства, смех или слезы, страх или радость, и Нора Крамер доказала, что владеет этим великим ремеслом в совершенстве».

Статьи, телерепортажи, фотосессии, приглашения на встречи, интервью, цветы, цветы, цветы...

В море цветов, однако, однажды обнаружился погребальный венок с черными лентами и надписью «Привет из прошлого, стерва», но как Нора ни силилась, сколько ни перебирала лица и имена, так и не вспомнила никого, кто мог бы затаить на нее такую злобу, чтобы напомнить о себе через много лет: их было слишком много, этих людей.

Теперь после спектаклей она все чаще возвращалась домой, к Кропоткину и Нюше, а Бессонов нашел новую жертву.

Это был Борис Сергеев, когда-то – скромный сотрудник НИИ, энергичный публицист, вознесенный перестройкой на вершину демократического движения, в августе 1991-го занявший видный пост в правительстве Ельцина, а потом поссорившийся с окружением президента и бежавший за границу. Помыкавшись по Европе, он обосновался в Чехии, преуспел в тор-

говле замороженными овощами, а после отставки Ельцина возвратился в Россию и попытался вернуться в политику, но неудачно. Человек деятельный и состоятельный, Сергеев взялся за мемуары, но и тут его постигло фиаско. Растерявшись перед материалом, он через общих знакомых передал свои записки Бессонову, который решил сделать Бориса Сергеева героем своей новой книги.

– Когда читаешь его записи о событиях августа девяносто первого или октября девяносто третьего, – рассказывал Бессонов Норе, – сразу чувствуешь личность: стиль упругий, написано сжато, ясно, точно. Электрическая проза! Но как только речь заходит о формировании этой личности, о детстве и юности, о негероических периодах жизни, тотчас все расплывается, превращается в кашу. И сразу становится видна его ограниченность, даже некое убожество, что ли. Эти жалобы на обстоятельства, которые помешали всем этим людям остаться у власти и привести Россию в капиталистический рай... напоминает мемуары немецких генералов, которым морозы и бездорожье помешали выиграть войну... В общем, плохому танцору яйца мешают. Они – люди одноразовые, герои мгновения, разрушители, на большее они не способны. Война, бунт, баррикады – их стихия, мать родна. Современные Троцкие, знаешь ли...

Нора умело делала вид, что ей это интересно, но с трудом сдерживала зевоту.

Она купила Бессонову квартиру, машину, небольшой уютный загородный дом, по-прежнему не жалела на него денег, которые он с большим энтузиазмом отрабатывал в постели, но все чаще скучала по своим зверяткам, по мужу и дочери.

Вечера, свободные от спектаклей, она проводила с Нюшей за чтением вслух. Нора читала Шекспира или Грибоедова по памяти, а Нюша по книге Грейвса о греческой мифологии, требуя на каждом шагу объяснений. Это было увлекательное занятие – вчитываться в текст, пытаясь разобраться в хитросплетениях биографий всех этих Агамемнонов, Клитемнестр, Эгисфов и Кассандр...

Они сидели на диване, читали, грызли орехи и дразнили Кропоткина – Нюша стала называть его Пигмалионом, а себя Галатеей. Ревность ее к матери поослабла, и вскоре Нора вернулась к разговору об операции, которая избавила бы Нюшу от уродства. Она накупила дочери платьев, чулок, туфель, и, прогнав Кропоткина с глаз долой, они занимались лепкой образа будущей Нюши – стройной красавицы, привлекательной девушки, секс-бомбы.

В начале зимы они встретились с доктором Шицем, выдающимся остеохирургом, который после долгих колебаний согласился оперировать Нюшу.

Операция прошла успешно. Кропоткин увез Нюшу в Швейцарию, где у него открывалась выставка. Два месяца девочка провела в специализированном санатории под присмотром врачей. А потом еще месяц они прожили в Арле. В Москву вернулись в середине апреля.

Увидев дочь в аэропорту, Нора вздохнула: Нюша стала еще больше походить на покойного отца – светлыми волосами, высоким ростом, глазами цвета изменчивого моря, правильными чертами лица. От матери – ничего. Стройная, загорелая, в туфлях на каблуках, в короткой шелковой юбочке, легко взлетающей при каждом шаге над красивыми коленками, она казалась старше своих шестнадцати, а полная грудь, широкие бедра и насмешливо-снисходительное выражение лица и вовсе делали ее искусственной женщиной. При ходьбе она как будто пританцовывала, ловко скрывая и без того почти незаметную хромоту.

На следующий день Нюша приехала в театр, чтобы посмотреть на мать, показаться, и все, кто знал ее прежней, в голос восхищались ее красотой и непринужденностью.

Кумир московских женщин Никита Журавский, одетый к выходу на сцену, поцеловал ей руку, уронив цилиндр и монокль.

Она записалась в школу танцев и в бассейн.

Раз в неделю Кропоткин возил ее в школу верховой езды.

В театральном училище, куда Нору пригласили на встречу со студентами, все тарасились на ее дочь.

На Тверской молодой мужчина подарил Нюше розу, и несколько минут они болтали по-французски.

На семейном совете было решено, что осенью Нюша пойдет в обычную школу, чтобы «обновить навыки общения с человечеством», как выразился Кропоткин.

Нора была занята в спектаклях, Уманский подумывал о постановке «Вишневого сада», в которой Норе предназначалась роль Раневской, а кроме того, она возобновила отношения с Бессоновым, совсем было угасшие.

Ей позарез нужно было с кем-то поговорить о своих страхах, о Кропоткине и Нюше, о том неуловимом, мерцающем и пугающем, о тех атмосферных изменениях, которые превращали ее жизнь в сплошную чесотку, и Бессонов подходил на роль слушателя лучше, чем глуповатая Молли или слепо влюбленная в нее Лиза Феникс.

– Думаешь, он ее трахает? – Бессонов ухмыльнулся, неприятно щелкнув пальцами. – А что, с этого мерзавца станется...

– До сих пор не можешь простить ему мордобоя в «Фениксе»?

– А почему я должен прощать?

– Потому что я прошу.

Он промолчал.

– Не думаю, – сказала она, водя пальцем по его гладкой мощной груди, – что они зашли так далеко...

– Может, и не зашли. Но есть во всем этом что-то нездоровое...

– О каком здоровье ты говоришь? Он же художник!

– А Нюша твоя – дурочка. Не дура, а дурочка. И это очень опасно...

– Когда она была хроменькой, я за нее боялась по настоящему: ведь такая девочка – легкая добыча, сам понимаешь. Но сейчас-то ей не на что злиться, незачем мстить – мне или там миру... Замуж ее, что ли, отдать? Родит ребенка, успокоится... только бы в актрисы не подалась...

Бессонов со вздохом поцеловал ее в душистое плечо.

Теперь ей снова было хорошо с Бессоновым, который по-детски радовался подаркам и доводил ее в постели до изнеможения, хотя она и понимала, что трусливо бежит от тех проблем, которые рано или поздно ей придется решать, чтобы они не расплющили ее и Нюшу.

В конце мая праздновали день рождения Нюши, и Кропоткин предложил отметить это событие необычным образом – он хотел запечатлеть Нору и Нюшу ню. Мать и дочь переглянулись, кивнули.

От шампанского и ледяной усмешки дочери у Норы закружилась голова, как перед выходом на сцену. Она была готова к чему угодно, но когда увидела обнаженную Нюшу, поняла, что битва будет нелегкой. Впрочем, подумала она, о какой битве речь? Мы только позируем, подумала она, только позируем, хотя нет, не ври себе, мы не только позируем...

Кропоткин выкатил на свободное место широкий диван, накидал на него подушек, включил дополнительный свет и встал у мольберта. Нора забралась на диван, села, подобрав ноги под себя и опершись на руку, а Нюша пристроилась рядом, приобняв мать и чуть склонив голову к ее плечу.

Нору покорила равнодушная деловитость дочери, которая легко скинула с себя халат и, не обращая никакого внимания на Кропоткина, залезла на диван, словно делала это каждый день. Если выяснится, подумала она, что он с ней спит, я его убью. Ножом? Топором? Ядом? Бейсбольной битой? Все сойдется. От этих мыслей голова у нее снова пошла кругом. Нора тряхнула головой и улыбнулась. Вскоре успокоилась, оцепенела, вдыхая приятный запах, исходивший от тела Нюши.

Они позировали до поздней ночи, делая иногда перерывы.

Когда пили чай, Нора надевала халат, Нюша отказывалась: «Мне тепло».

Кропоткин глотал коньяк из горлышка, рычал, грозил им кулаком, Нора снимала халат, и они снова занимали места на диване.

Нора вдруг вспомнила, как впервые разделась перед мужчиной – перед Мишей, первым мужем, который потребовал, чтобы она сняла с себя все, и включил свет, и она сняла с себя все, а он стиснул пальцами ее соски и, весь задрожав, спросил, был ли у нее кто-нибудь до него, и она сказала: «Нет», но он, похоже, не поверил, обошел ее кругом, приносясь и что-то высматривая на ее теле, словно искал знак, подтверждающий ее девственность, а потом не выдержал и навалился, спустив брюки до колен, а наутро был возбужден, пьян и все порывался залезть на крышу и вывести на телевизионной антенне простыню с красным пятном посередине, но родители кое-как его отговорили...

Она почувствовала, как по телу Нюши пробежала дрожь, и скосила глаза на дочь – та не понимала, что происходит, почему она вдруг задрожала, но тут Нора по какой-то прихоти памяти стала думать о Бессонове, и Нюша вздохнула с облегчением...

В Арле она впервые увидела серию небольших картин Кропоткина под общим названием «Клэр», посвященную его бывшей жене. Он писал ее, словно хотел превзойти Шиле и Курбе: Клэр в чулках с разведенными в стороны ногами, вагина Клэр крупным планом, руки Клэр и ее клитор, Клэр, снимающая чулки, Клэр, ласкающая свои груди, Клэр и дилдо, Клэр, дилдо и девушка...

Кропоткин тогда поймал ее взгляд и сказал с улыбкой:

– Ты первая женщина, которую я люблю целиком, всю.

Первое ее ню он написал еще в Москве. Она позировала ему почти весь день и очень удивилась, увидев результат: Кропоткин изобразил ее пятью-шестью резкими, размашисто очерченными красными линиями, которые образовывали женский силуэт и чувственный рот – на рот он, кажется, потратил всю остальную краску. Он взял ее за руку и заставил сделать шаг назад, и тут она вдруг поняла, что картина удалась, что этот иероглиф исчерпывает ее со всей полнотой, на какую только способен знак...

Нора снова очнулась, почувствовав тревогу, исходившую от дочери. Но Нюша только взглянула на мать сердито и отвела глаза. Она явно не понимала, что за волны накатывают на нее, заставляя то дрожать от холода, то млеть от нежности...

– Все! – заорал вдруг Кропоткин, отшвыривая кисти. – Хватит! Все по домам, плетена мать!..

Он был пьян в лоск, как настоящий маляр, и остался ночевать в мастерской.

На следующий день, едва почистив зубы, Нора спустилась в мастерскую, чтобы взглянуть на картину. Кропоткин не любил показывать незавершенные работы, поэтому она решила сделать это пораньше, пока он спит. Но он не спал. Сидел с мрачным лицом на складном стульчике перед мольбертом и потягивал коньяк из горлышка.

– Ближе не подходи, – сказал он не оборачиваясь.

Она села на биотуалет, который Кропоткин держал здесь, чтобы не отрываться от работы, когда она захватывала его целиком. Отсюда, шагов с восьми-десяти, разглядеть картину было трудно, да вдобавок она наполовину была закрыта какой-то тряпкой, свисавшей с подрамника.

– Не нравится? – спросила Нора.

– Не знаю, – сказал он. – Не могу решить.

– Что ж, решать тебе.

Он обернулся.

– Ты о чем?

– О картине. И вообще.

– Ты же знаешь, что это у меня плохо получается. Всю жизнь так... между запором и поносом... садись ближе, только не смотри на нее, ладно?

Она взяла складной стульчик, села рядом, глотнула из его бутылки.

– Я запуталась, – сказала она. – И мне нелегко. Тебе, кажется, тоже...

Он промолчал.

– Слишком много вдруг стало пустоты, – продолжала она. – Она и раньше была, это нормально, но в последнее время ее стало слишком много...

– Говорят, это напоминает роды. – Он кивнул на картину. – Но это не роды. Настоящие роды у женщин, они заполняют пустоту ребенком, это – по-настоящему... а это – фикция... мне всегда хотелось растить картину, как растят ребенка... кормить, купать, гулять с ней, радоваться, когда скажет первое слово... чтобы она сама росла, а я только помогал бы... – Вздохнул. – Странная мысль... а Клэр и вовсе не хотела детей...

– Ты сейчас о картине или о ребенке?

Он пожал плечами.

– Мы никогда с тобой об этом не говорили, – растерянно сказала Нора. – И я об этом не задумывалась...

– Еще не поздно, – сказал он. – Какие наши годы...

Нора взяла его за руку, почувствовала, что они тут не одни, обернулась.

Это была Ньюша.

– Ты здесь давно? – спросила Нора.

– Вы хотите завести ребенка? – спросила Ньюша, глядя на Кропоткина, который сидел с опущенной головой. – Хотите или нет?

– Ты об этом первая узнаешь, – сказала Нора. – Что так рано-то?

Ньюша резко повернулась и ушла.

– Мне надо поспать, – проговорил Кропоткин, еле ворочая языком. – Потом поговорим, ладно? Спать хочу – жуть...

Он ушел, забрался в темный угол, что-то там затрещало, послышалось бульканье, потом все стихло.

Нора поднялась в кухню, чтобы сварить кофе.

Прислугу она отпустила до понедельника, в доме было тихо. Кропоткин спал внизу, в мастерской, завернувшись в какой-нибудь старый холст, Ньюша, наверное, в своей комнате, но ни о муже, ни о дочери она сейчас не думала. Если она правильно поняла пьяненького Кропоткина, он хотел ребенка. Хотя, может, она не так его поняла. Он же говорил о воспитании картины. Но потом заговорил о ребенке. Еще не поздно, сказал он, какие наши годы, сказал он. Так говорят о настоящих детях, а не о картинах. Или все же о картинах?

Нора выпила две чашки крепкого кофе, выкурила четыре сигареты. Она была возбуждена. Кропоткин никогда не заводил речь о ребенке. Да и ей эта мысль никогда в голову не приходила. А может, все дело в этом? Может, им нужен их общий, собственный ребенок, чтобы все изменилось. Ньюша для него, как ни крути, чужая, не своя кровь, Галатея, искушение, соблазн. Собственный ребенок – это совсем другое. Она никак не могла свыкнуться с этой мыслью. Всерьез ли говорил Кропоткин? Готов ли он к продолжению этого разговора?

Нора была растеряна. Выпила третью чашку кофе, выкурила еще две сигареты, и только тогда ее мысли вернулись к Ньюше, которая, похоже, подслушала разговор в мастерской. Она, конечно, по-прежнему влюблена в Кропоткина, и его слова о ребенке стали для нее полной неожиданностью. Она растеряна и разгневана. Она считала себя хозяйкой, повелительницей этого мужчины, и вдруг ей напомнили о том, что она не центр мира. Что ж, подумала Нора, ей придется вернуться на землю, занять свое место и жить с этим, такова жизнь...

Она прислушалась – в доме по-прежнему было тихо. Взглянула на часы – Ньюше пора вставать, а ей – готовить завтрак.

– Ньюша! – крикнула она. – Ньюша!..

Тишина.

Нора постучала в дверь комнаты – дочь не откликнулась.

Толкнула дверь, сразу увидела Нюшу, бросилась, поскользнулась, схватилась за ноги дочери, отпустила, взобралась на стул, слезла, схватила слепо со стола что-то железное, попыталась перерезать веревку, но это оказалась стальная линейка, отшвырнула ее, обхватила Нюшу за пояс, стараясь не смотреть вверх, закричала, завывала, завывала...

Потом она затихла, потом выпила четвертую чашку кофе, потом выкурила еще две сигареты и занялась делами. Сознание иногда мутилось, но Нора умела держать себя в руках. Она пережила арест Ксавье, смерть сына, самоубийство первого мужа, перерезавшего горло у нее на глазах и забрызгавшего ее кровью, тоску, голод и одиночество, драки в общей гримерке стрип-клуба, когда девушки били друг дружку ногами и маникюрными ножницами, смерть Генриха, убийство Дона, кончину милого старика Полонского, измены мужа – все это она пережила, переживет и смерть дочери, должна пережить, так уж она устроена...

После того как она подписала все бумаги и тело Нюши увезли, она приняла душ, тщательно оделась и спустилась в мастерскую. Кропоткина там не было. Его нигде не было. Он исчез. Она не стала тратить время на осмысление этого факта. Надо было звонить в ритуальное агентство, договариваться о похоронах, поминках.

Выбрала агентство «Черный лебедь», позвонила. Положила перед собой лист бумаги и стала выписывать имена тех, кого следовало пригласить на похороны, потом все зачеркнула, скомкала список и выбросила. У Нюши не было друзей, и никому, кроме Норы и Кропоткина, до нее не было дела. Значит, никаких посторонних. И никакого оркестра.

Вдруг позвонила Молли – она только что прилетела из Хорватии, хотела встретиться, как обычно, чтобы погулять по Царицынскому парку, который, говорят, сейчас не узнать, покурить уток, выпить из фляжки, пообедать в каком-нибудь ресторанчике в центре, поболтать...

– Приезжай, – сухо сказала Нора. – Нюша умерла.

Молли нашла ее в гостиной.

Перед Норой стояла непочатая бутылка коньяка, в левой руке она держала чистую пепельницу, в правой – незажженную сигарету.

Молли вздохнула, щелкнула зажигалкой.

Первую бутылку коньяка они выпили за час. Выпили молча. Вторую открыли во дворе, где росла старая шелковица, под которой стоял стол. Было жарко, и они разделись до трусов и лифчиков, как в старые времена. Молли стала вспоминать, как они дрались с сутенерами, которые хотели взять их «под себя», и как клиент пытался расплатиться с ними ящиком спирта, а они отказались, и он стал стрелять в них из автомата Калашникова – еле ноги унесли...

Потом они уснули на траве, а когда проснулись, Нора позвонила Кропоткину – он не отвечал, и они откупили следующую бутылку. Звонили из ритуального агентства, звонила Лиза Феникс, звонили из театра, звонил Бессонов, потом кто-то дважды ошибся номером, потом приехала девушка из агентства, и Нора подписала доверенность, чтобы «Черный лебедь» мог получить справки, необходимые для похорон, потом они съели по бутерброду и снова выпили...

На кладбище Нора, Молли и Лиза Феникс были в черных шляпах с вуалью, Бессонов стоял в сторонке, прижимая к груди какую-то папку. Кропоткин на похоронах не появился и не отвечал на звонки. Люди из агентства у соседней могилы громко вспоминали, сколько раньше стоили похороны в долларах и дойчмарках, путались, вздыхали...

После поминок – они впятером зашли в кафе, молча выпили по рюмке водки – Бессонов отвез ее домой, за город, и они сразу легли спать – Бессонов в гостиной.

Вечером он приготовил ужин, снова помянули Нюшу, после чего Бессонов молча положил перед Норой папку. В ней были документы – справка о смерти, медицинское заключение, что-то еще. Нора подняла голову, вопросительно посмотрела на Бессонова.

– Почитай, – сказал он. – Рано или поздно придется.

– Что придется?

– Почитай медицинскую справку. Лучше это сделать сейчас.

Пожав плечами, она пробежала глазами справку, замерла, закрыла глаза.

Бессонов наполнил ее рюмку.

Нора залпом выпила.

– Вот почему он исчез, – сказала она тихо. – Я подозревала что угодно, но не это. – Запнулась. – Вот почему она так растерялась...

Бессонов молчал.

– Мы разговаривали о детях, и она решила, что мы хотим завести ребенка. Хотел он. А у нее уже был ребенок от него... вот она и... а я-то... мы ведь на самом деле ничего... Боже, Митя, но почему же он спрятался? Он же где-то здесь...

Она схватила со стола нож и бросилась в мастерскую, Бессонов едва успевал за ней.

– Нора! – крикнул он. – Да Нора же!

Нора включила в мастерской свет.

– Ты туда! – приказала она. – А я здесь.

Они перевернули мастерскую и дом вверх дном, но Кропоткина нигде не было. Потом обыскали сад, флигель, Нора стала ломиться в сарай, где хранились садовые инструменты: ей нужен был топор. Топор. И сеть. Она набросит на него сеть, а Бессонов ударит обоюдоострым мечом – ударит дважды. Агамемнон упадет в бассейн, который до краев наполнится его черной кровью, а потом Нора отрубит ему топором голову и не станет закрывать рот и глаза на отрубленной голове, лишь оботрет его волосами брызнувшую на ее одежду кровь, а потом бросит голову в огонь, чтоб выкипели его глаза и мерзкий мозг, в огонь, в огонь...

Бессонову с трудом удалось скрутить ее, отнести в дом и уложить спать.

Нора заснула на спине с открытыми глазами.

Бессонов боялся, что она утонет в отчаянии и коньяке, но уже к обеду следующего дня Нора пришла в себя, сварила кофе покрепче и сказала, что хочет наказать Кропоткина. Убить его. Уничтожить.

– Да брось ты эти страсти-мордасти! – сказал Бессонов. – Плюнь и забудь, даже не думай об этом – испортишь свою карму. Давай лучше уедем. Друзья предлагают купить домик в Таррагоне... или в Хорватии... можно и в Греции – на каком-нибудь острове, на Крите или на Корфу... теплое море, хорошее вино, ты да я... Надоело здесь жить – слов нет. Тысячу лет все ждем и ждем лучшей жизни, строим да строим, и вдруг то война, то революция, то еще какая-нибудь дрянь... Хочется пожить на готовом – сколько той жизни осталось! наших денег хватит...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.